

## ФИРС

### Рассказ

Супружеская пара сидела за угловым столиком в ресторане гостиницы. Мужчина был моложав и все-таки явно старше спутницы. Полумрак скрадывал их лица, но скрыть волнения не мог. Женщина молчала, мужчина что-то коротко говорил ей по-немецки. За ними безмолвно наблюдал посторонний, но не случайный персонаж Григорий. В зале висело напряжение, и все ощущали его.

«Бог с ним, с этим волнением, меня это не особо касается. Я всего лишь зритель, даже не свидетель разговора», — рассудил Григорий, подошел к столику и перекинулся с немцами парой слов.

Отвечал мужчина. Скорее угадав, чем разобрав из немецких фраз, что сегодня у них случилось нечто необыкновенное, Григорий сходил за бутылкой коньяка, взял в баре три рюмки, плеснул в них солнечного света. Выпили залпом, без закуски. Немец заговорил быстрее, сыпал словами. Удавалось выхватывать из рассказа только отдельные слова, чаще всего: голод и смерть, смерть и голод, голод, голод.

Десяти-одиннадцатилетние мальчишки с матерью в конце войны не успели эвакуироваться в глубь Германии и два года выживали в маленьком домике за городком Лабиау — нынешним Полесском. Голод, голод, голод. Жизнь — поиск еды, любой еды. Иногда воровство, редко неожиданная помощь случайно встреченных русских. Зимой голод становился непереносимым, весна и лето приносили временное облегчение.

Мать отдавала еду детям, пытаясь их спасти, и умерла от голода в начале лета 1947 года, не дожив двух месяцев до отправки в Германию. Сын тайно похоронил ее во дворе дома, под приметным деревом. Сегодня они с женой целый день безуспешно искали дом на окраине поселка и только к вечеру все-таки опознали то место. Старого приметного дерева уже не было, и они, попросив разрешения у нынешних хозяев, посадили над могилой матери вечнозеленый куст. Опасались раскрыть тайну места и не сказали, что здесь похоронена его мать. В безыскусном рассказе немца история предстала в своей трагической обыденности, спутница за все время разговора не произнесла ни слова.

Мать умерла, а он, совсем мальчишка, выжил, вернулся в Германию, стал известным актером и режиссером. И сейчас, состарившись, в мюнхенском театре играл всего одну роль — старика в знаменитой русской пьесе. Совершенно седой и прозрачный от худобы, он выглядел так, словно навсегда остался в голоде детства.

Обычная житейская история, а житейские истории потому и житейские, что происходят сами по себе. Происходят без автора и режиссуры, если таковыми не

---

Борис Нухимович Бартфельд родился в 1956 году в пос. Новостроево Калининградской области. Окончил университет по специальности «Теоретическая физика». Член Союза российских писателей. Председатель Калининградской областной писательской организации. Автор шести книг, стихи переведены на литовский, польский, немецкий и латышский языки. В 2013 году за просветительскую деятельность стал лауреатом премии Калининградской области «Сопричастность». Лауреат премии Калининграда «Вдохновение» за лучшую художественную книгу 2012 года — сборник стихов «Пределы». Живет в Калининграде.

считать провидение. Такая история могла случиться через пятьдесят лет после войны в любой день, но случилась в июле 2012 года.

Через два года пара вновь приехала в Калининград. Они представили книгу о судьбе того мальчишки. Вечно молчаливая спутница оказалась писательницей. Она всегда молчала, только глаза, не поглощающие, а излучающие свет, выдавали ее необычную открытость миру. Может, писатель и должен молчать, чтобы не растратить мысли и чувства, так и не успев донести их до бумаги. Через год книгу перевели на русский язык, и Григорий прочел ее. В книге снова — голод, голод, благодарность матери и неизбывная вина перед ней, поиск следов отца, тайна его гибели, сомнения в его принадлежности к национал-социалистической партии, и снова сомнения, и снова голод, голод без конца. Григорий размышлял о том, что заставило молчаливую фрау потратить два года на описание частного случая, который в книге приобрел общечеловеческое звучание. Ни на деньги, ни на славу она рассчитывать не могла. Что двигало ею, какая воля или долг заставили ее проделать большую работу? Она шагнула из своей молчаливой тени немого свидетеля на звучащую, освещенную сцену, выносив в себе книгу о двух первых послевоенных голодных годах в Восточной Пруссии.

Русские виноваты в том голоде? Прямо не сказано. Но это вытекало из текста, точнее, было подтекстом. Мог ли немецкий мальчишка, оказавшийся в трагической ситуации, не ожесточиться? Русские виноваты! Но они и сами голодали, и их жизнь отличалась от жизни немцев только тем, что русские могли уехать из этого голодного места в другое, такое же голодное. Когда люди страдают, всегда кто-то виноват, боль и обида сами находят виновных. Какое впечатление производили страдания немцев на русских? Не самое сильное, ведь все зависит от того, с чем сравнивать. А русским, белорусам, евреям и украинцам, жившим тогда рядом с немцами, было с чем сравнить. И на первом месте в личном опыте немецкой оккупации у них были смерть и истязания, а голод маячил где-то далеко — до него еще надо было дожить. Так было везде, за исключением Ленинграда и лагерей. Но в послевоенной Восточной Пруссии подавляющее большинство немцев выжили, легче было тем, кто жил ближе к заливу, рекам, озерам. Рыбу, в отличие от зверей, можно было ловить и этим спастись. Сушеный снеток — валюта, а хлеб еще дороже. Но этот старый немец, в юности претерпевший и потерявший все, дружелюбен к русским, он как-то сумел изжить ожесточение войны, голода и изгнания.

Вскоре Григория по делам занесло за Полесск и дальше, за Дейму, в старую немецкую школу-музей Вальдвинкель, где уже явственно ощутимо дыхание Куршского залива. Там, в маленьком частном музее, собраны рассказы стариков из окрестных поселков о жизни переселенцев в самые первые годы после приезда. И в них главное место занимал тот же голод, голод и русских, и немцев. В одном из рассказов, больше похожем на исповедь, теперь уже пожилая женщина вспоминала о своем ровеснике, тринадцатилетнем Матвее из Разино<sup>1</sup> — лесной деревушки, стоящей на канале неподалеку от залива. Матвей наловчился не только искусно ловить рыбу (это умели многие), но и каким-то тайным, хитрым способом быстро сушить ее для длительного хранения. И всю зиму и даже весну он раздавал маленькими порциями драгоценную еду окрестной малышне без разбора: и русским, и немцам.

Григорий надумал доехать до канала и осмотреть деревушку. Дорога к ней шла на север, сначала асфальтовая, затем грунтовая и, наконец, когда деревья обступили машину со всех сторон и хлестали ветками по кузову, лесная. Несколько раз каза-

<sup>1</sup> Поселки Полесского района (Лабиау): Келладен — пос. Ильичево; Ювендт (Мевенорт) — пос. Разино.

лось, что надо поворачивать назад, дальше проехать невозможно, но деревья раступались, и вновь открывалась дорога. Вскоре впереди показались дома. Часть из них была полуразрушена и уже оккупирована буйной природой, ее передовые части: кустарники, осины и березы — заполнили дворы, взобрались на стены и остатки крыш. Метров через двести машина застряла в глубокой колее, разбитой тракторными колесами. Попытки вырваться из колеи на обочину не удалась, надо было подложить под колеса доски или какой-нибудь другой подручный материал. Пришлось пойти к ближайшему дому за инструментами.

Живой забор вокруг участка превратился в высокий лес, но дом стоял крепко, и на двухскатной островерхой крыше его лежала родная красная черепица, да и деревянные окна были еще немецкими. Сад у дома постарел, немецкие яблони доживали последние годы, только стайка молодых вишенкок-костянок весело перешептывалась мелкими листьями. Во дворе никого не было, оставалось открыть дверь самому и зайти в дом. Из маленькой прихожей коридор вел к кухне, где на табуретке сидел старик в фуфайке, на его ногах, обернутых фланелевыми портянками, чернели резиновые калоши.

— Отец, машина моя застряла неподалеку, дай топор кустов нарубить, — старик, казалось, не слышал. Григорий подошел ближе, тронул его за плечо, старик рассмеялся.

— Я все слышу, не беспокойся. Иди в сарай, топор у стены лежит. Нарубишь кустов, возвращайся, только елочки и березы не руби, там полно сорной поросли.

— Спасибо, отец. Я недолго.

Топор, воткнутый в край аккуратного чурбачка, нашелся сразу. Все в сарае было обычным для села, но под самой крышей были натянuty десятки лесок, на которых рядами, как ноты на нотном стане, висели сотни рыбин, будто специально отобранных, одна к одной, все весом грамм по триста. Мало ли кто из местных вялит рыбу, но запах этой рыбы да и цвет были необычными, будто кто-то смазал ее особым маслом. Да еще на веревках под потолком висели холщовые мешки, заполненные высушенной рыбой.

Поблизости от дороги в изобилии росли самосеянные клены, осинки. Они и пошли под колеса. Дернувшись несколько раз вперед-назад, машина с трудом выбра-лась из глубокой колеи на твердую дорогу. Когда Григорий вернулся с топором к сараю, старик стоял на чурбачке у стены, кряхтя, снимал рыбу с лесок и складывал ее в мешок.

— Ну что, вылез из ямы? Куда нелегкая тебя несет, вроде ты не из наших, да и не рыбак?

— Просто путешествую, вот хочу до канала доехать, на залив посмотреть.

— Каналов здесь полно, со всей округи воду собирают, а то затопило бы давно поля и лес. Я тут каждую тропинку, каждую канавку знаю, где какую траву собирать: вот валерьяну — ближе к поселку Красное, а тмин — тот у дамбы растет. Помню времена, когда все здесь работало, и симменсовские насосы еще пятьдесят лет после войны перекачивали воду из канальчиков в каналы и в конце концов в Куршский залив.

— А когда вы сюда приехали?

— Мальцом приехал из Мордовии. В последний день лета на следующий год, как война с германцем кончилась, наш эшелон пришел на станцию Тапиау, Гвардейск нынешний. Здесь всю жизнь и прожил, а что мне еще нужно. Люблю я воду. Родился на речке Мокше, с ранних лет рыбалил и здесь к месту пришелся.

— Отец, а что, в первые годы с вами тут и немцы жили, небось и не помните уже?

— Чего ж не помнить. Все помню: и русских, и немцев, как играли вместе и дрались.

И как увозили их на грузовиках, помню. После возле калитки в лопухах нашел два тюка с посудой, кто из них мне оставил, не знаю. Так всю жизнь с этой немецкой посуды и ели, ни разу не покупали.

— Правда, так голодали, что всех крыс поели?

— Голодно было, но крысами не спасешься. Хитрые они, бестии, чувствуют свою погибель и уходят подальше от крысоловов. Вот рыба, та другое дело, она здесь беззаботна и всегда под рукой. Она спасительница. Держи мешок, повесишь дома на крюк под потолок и ешь по рыбине хоть целый год, она только вкусней будет.

— Так кухня вся провоняет рыбой.

— Не бойсь, не провоняет кухня твоя. Рыбка-то моя высушена особым образом. И сохнет быстро, и хранится долго, и не пахнет почти. Секрет был у старых мокшан, дед мне еще в мальчишестве рассказывал о богине-матери Анге-патяй, да секрет тот и раскрыл. Дом ее небесный, скрытый за тучами, всегда полон семян растений, зародышей животных, душ неродившихся младенцев. Из своего дома богиня наша на Землю посылает Эряф-Жизнь, вместе с росой, дождем, молоком, снегом. Потому мордва и выжить может там, где другим не прожить. Из-за рыбы я в этом поселке и оказался. Сперва нас в другом месте поселили, в местечке Келладен. Немцы и русские жили здесь тогда по разным поселкам. В первый год немцев было раза в два больше. Мы приехали в осень, а ни огородов своих, ни животины на забой нет. Немецкие запасы по подвалам да полевым буртам подъели быстро. Осень кончалась, а голод только начинался. Лошадей стали есть, паслись здесь без присмотра по лугам табуны. Но за это сажали. А я лошадей и без того есть не мог, для меня это что друга схарчить. За рыбой я стал ходить на канал, но идти надо было далеко. Так я и перебрался сюда, поближе к рыбе. Здесь жили сплошь немцы. Но ничего, сначала грызлись, а потом сжились друг с другом. Подкармливал я их, да и научил кое-чему. Два года с залива и канала не вылезал.

— Зачем же, отец, ты взвалил на себя эти заботы? Любви-то между вами и немцами особой не водилось.

— Не знаю, как тебе и объяснить. Просто не могу, а мудрено не умею. Разные люди здесь спасались. Кто имел неукротимую волю к жизни, те и сами выживали, а вот кто терял ее — тем беда. Ведь голодала здесь еще и малышня. Воля к жизни у детей природная, а умения прокормиться нет. Им-то я и помогал. Голод и холод подавляют волю к жизни. А зачем мне это нужно было, я ни тогда не знал, ни сейчас не знаю. Тоже, видать, воля какая-то мною двигала. Не мог я смотреть, как они тощат с каждым днем, а потом угасают, как лучина.

— Как случилось, что ты остался здесь один?

— Так уехали все. И сыновья, и дочери, и невестки, и внуки — все разъехались, кто в соседний поселок Саранское, кто в городе живет. А меня забыли, никто не позвал с собой, вот так. Да я бы и не поехал. Ничего, я здесь посижу. Жизнь-то прошла, словно и не жил. Но это ладно, вот старуха моя и соседи все перемерли, так это жаль.

— А мешки с рыбой зачем на подвесе под потолком держишь?

— Известное дело, те же крысы и мыши за месяц сгрызут всю рыбу. А ее сохранить надо для людей до самой весны. Почти семьдесят лет прошло, а я все еще продолжаю свое дело — заготавливаю рыбу впрок. Главным это стало для меня, а в чем смысл? Голода-то нынче нет. Но все равно ловлю рыбу, а потом раздаю, только теперь старикам, брошенные, они нынче беспомощней детей.

Он распрощался и направился в дом.

— Как звать-то тебя, отец? Может, через месяц заеду к тебе еще.

— Дедом Матвеем кличут, знаешь, что значит мое имя? Вижу, что не знаешь, «дар Божий» означает. А в чем дар тот — так и не знаю, не открыл в себе. Ну заез-

жай, встречу, коли жив буду. До заморозков ноябрьских собираюсь дожить. А там и помру, засну на морозе. Тихая смерть.

— Ты тут один, помрешь, тебя и похоронить некому, будешь вонять.

— Нет, паря, не буду. И здесь мне мой секрет поможет, высохну, как мумия. Жизнь моя здесь закончится так, как и начиналась. В холоде и голоде. Круг должен замкнуться. Вот никому не говорил, а тебе, незнакомцу, скажу: мне иногда кажется, что те, самые первые два голодных года на этой земле и есть самые главные в моей жизни.

Григорий достал прихваченную из машины поллитровку и с благодарностью отдал деду. Тот явно обрадовался:

— Придут морозы, буду ей согреваться, по семьдесят грамм утром и вечером, глядишь, неделку на ней протяну. Топить-то печку сил уже не будет. Вот через неделку вишни поспеют, радость у меня будет, три года как посадил их. Может, последняя радость. Варенье бы из вишни наварить в зиму с косточками, да уж не смогу.

Он повернулся, медленно зашел в дом, дверь закрывалась за ним сама, долго, с пронзительным скрипом, будто лесная птица кричала во весь голос свою прощальную песню. Григорий завел машину, дальше дорога была твердой, через несколько минут открылся вид на канал.

Про деда вспомнил Григорий только в следующем году, на майские праздники. После обеда отправился к нему в поселок. По знакомой дороге ехалось легко, и яму перед поселком объехать не забыл. На участке перед домом никого не было. Незапертая дверь болталась под напором ветра; на кухне, опершись спиной о стену, сидел дед. Одет он был так же, как в прошлую встречу, только на голову была глубоко, по самые брови, надвинута шапка. Лицо было спокойным, только цвет кожи коричневый, как у дехканина. Казалось, он спал. На столе стояла ребристая немецкая рюмка толстого синего стекла и та самая, дареная бутылка водки, пустая. Делать Григорий ничего не стал, в конце концов, он даже не Свидетель, только Зритель. И в полицию не сообщил, ничего не тронул, лишь слегка поправил шапку, пусть дед сидит в своем доме и встречает редких гостей. Прикрыл дверь, которая свою печальную песню на этот раз пропела коротко. В сарае все было по-прежнему, только с лесок сняли всю рыбу. На полу валялся тетрадный листок, сброшенный сквозняком с подоконника. На нем корявым почерком кто-то написал: «Дед Матвей, спасибо тебе за рыбу», — затем слово «рыбу» было зачеркнуто и выше размашисто написано «ЖИЗНЬ».

Григорий поднял листок, разгладил его, аккуратно насадил на гвоздь, торчащий из стены, так, чтобы каждому входящему слово «ЖИЗНЬ» бросалось в глаза.

В задумчивости вышел из сарая, плотно прикрыв за собою дверь.

Старый сад медлил с цветением. Немецкие яблони, не выходя из зимнего сна, засыхали. Но в углу сада, охваченные белым пламенем, трепетали молодые вишенки. Те самые костянки, которые так хотел попробовать дед прошлым летом. Случилось ли ему их поесть, или неугомонные скворцы раньше склевали первый урожай?

В тот же вечер в мюнхенском театре ровесник деда Матвея играл свою единственную роль. В конце пьесы, оставшись на сцене в одиночестве и пытаясь понять, отчего его герой, старик, брошенный всеми в притихшем доме посреди гибнущего вишневого сада, все еще жив, он лег на лавку и повторил в мертвой тишине зала слова деда Матвея:

— *Mich haben sie vergessen. Tut nichts, ich bleib' hier sitzen*<sup>2</sup>. Жизнь-то прошла, слово и не жил.

<sup>2</sup> Про меня забыли. Ничего, я тут посижу (нем.).